
Шёнле Андреас

**АРХИТЕКТУРА ЗАБВЕНИЯ:
РУИНЫ И ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ
В МОДЕРНОЙ РОССИИ***

Schenle Andreas
**Architecture of oblivion: Ruins and historical consciousness
in modern Russia**

Руины – своего рода образ самосознания культуры, размышающей о собственных истоках, «скорее культурный конструкт, чем физический объект» (с. 19). В Западной Европе руины начинают воспринимать именно как руины и сохранять в этом качестве в эпоху Возрождения, когда осознание прерывности истории повысило значимость следов прошлого. Особую ценность руины приобретают в эпоху Пропаганды.

Существенно иначе обстояло дело в России. Вплоть до присоединения Крыма (1783) здесь не было античных руин. Деревянные церкви не могли превратиться в эстетически впечатляющие развалины, а немногочисленные каменные церкви периодически подвергались перестройкам. Новая церковь приобретала святость от местоположения, а не от стилистической связи со своей предшественницей. Повсеместная бедность и слабая экономика не способствовали эстетизации феномена разрушения.

*Шёнле А. Архитектура забвения: Руины и историческое сознание в модерной России / авториз. пер. с англ. А. Степанова. – М.: Новое лит. обозрение, 2018. – 376 с. – (Серия «Интеллектуальная история»).

В эпоху Петра Великого прошлое стало восприниматься одновременно как царство невежества и предмет исторического любопытства. Но забота о сохранении материальных ценностей не доходила до идеи сохранения архитектурного наследия в целом. Во второй половине XVIII в. Античность стала восприниматься как универсальная архитектурная и художественная манера. Местное культурное наследие считали не имеющим ценности: Московский Кремль едва не пал жертвой классицистического проекта Василия Баженова.

Романтизм сопровождался интересом к реконструкции руин, которая, однако, основывалась скорее на воображении, чем на данных археологии. «Настоящее самонадеянно уверилось в том, что может вернуть отдаленное прошлое» (с. 36).

Самостоятельная ценность руин по-настоящему была осознана лишь в начале XX в. мирикурсниками. Они воспринимали памятники как отдельные и неповторимые произведения. Такой подход, в сущности, исключал любое реставрационное вмешательство. Допустима лишь консервация, сохранение памятника как знака живой традиции.

После 1917 г. дворцы и усадьбы превратили в музеи. Но к концу 20-х годов возобладала идеологическая установка, обращенная в будущее. Множество исторических зданий было уничтожено.

После военных разрушений 1941–1945 гг. были предприняты огромные усилия для сохранения национального наследия, но уже к 1949 г. появились первые признаки охлаждения властей к задачам реставрации. «Импульс отказа от прошлого приводил не только к разрушению множества памятников, но и подталкивал к целостной реставрации <...>, в то время как желание сохранить непрерывность истории оправдывало более аутентичную фрагментарную реставрацию» (с. 43).

Романтическое представление о «целостности» сохранялось в России гораздо дольше, чем в западных странах, что имело фатальные последствия для консервации, и особенно – консервации руин. И широкая публика, и профессиональное сообщество реставраторов желали видеть целостные, стилистически единые архитектурные комплексы, а не плод случайных влияний времени. Архитектура современных русских городов в значительной степени «придумана», поскольку «целостная реконструкция» часто опиралась на гипотетические аналоги. «Живописность разрушающегося памятника признавалась только в небольших контркультурных сообществах» (с. 43). В странах Запада на-

считывается больше сторонников сохранения примет исторического возраста здания – например, патины или частичного разрушения. «Здесь чаша весов склонялась не к реставрации, а к консервации» (с. 43).

В первой главе («Руины и модернность в русском предромантизме») прослеживается развитие интереса к руинам в конце XVIII в. Во второй главе («Уроки московского пожара 1812 года») речь идет о возрождении провиденциализма и компрометации просветительских ценностей в связи с пожаром Москвы. В третьей главе («Эстетика и политика в романтической моде на руины») рассматривается тема руин в романтизме, прежде всего на примере картины Брюллова «Последний день Помпеи».

Четвертая глава («Между стиранием и взращиванием») посвящена модернистской интерпретации руин представителями Серебряного века. Мирикурсники воспринимали руины позитивно, как зримое выражение перекличек между прошлым и настоящим. Символисты связывали руины с апокалиптическими предзнаменованиями, предвестием конца цивилизации. Авангардисты приветствовали разрушение как начало новой эры, «хотя авангард оставался диалектически связан с прошлым, которое ему приходилось многократно воскрешать в памяти, прежде чем окончательно отбросить» (с. 47).

В пятой главе («Послереволюционная разруха в городе») речь идет об опустевшем и разрушающемся Петрограде 1920–1921 гг. Бывшие мирикурсники воспринимают город как нечто прекрасное, вернувшееся к своей доиндустриальной красоте и тем самым противостоящее советской идеологии прогресса. Для Виктора Шкловского и Владислава Ходасевича руины – это возможность остранения, открытости и свободы.

В шестой главе («Руины Ленинграда времен блокады и эстетика борьбы за выживание») исследуются ограничения, налагавшиеся властями на презентацию блокады и попытки некоторых деятелей искусства обойти государственный контроль и передать другим свой невыразимый опыт. «В контексте полной дегуманизации красота лежавшего в руинах города становилась ключевым образом в попытках сохранить какую-то нормальность» (там же).

В седьмой главе рассматриваются образы руин в поэзии Иосифа Бродского. Поэт воспринимает развалины как переходную область между пространством и временем: «Руины прорывают бессмысленное

течение повседневности и открывают иноприродную область, характеризующуюся вневременностью и полнотой бытия» (с. 48).

Восьмая глава («Руины как альтернативная реальность») посвящена функции руин в так называемой «бумажной архитектуре». Сначала «бумажные руины» были уходом от тусклой советской действительности, затем – неисчерпаемым ресурсом художественных форм.

В «Заключении» излагаются споры о строительной политике властей постсоветской Москвы. Действия Лужкова, по мнению автора, «соответствовали представлению о том, что государство владеет городским пространством и отвечает за его внешний вид, так что любой мельчайший изъян воспринимается как прямое обвинение местной власти в неэффективности. Модернизация, по Лужкову, означает очистку, и в этом отношении он разделял представления советских властей о том, <...> что прогресс достигается только за счет отрицания прошлого или же за счет замены аутентичных исторических руин добротными, отполированными симулярами» (там же).

В России «патина времени» долго приносилась в жертву насущной необходимости настоящего – отделить себя от недавнего прошлого. «Руины казались неприятным и неприглядным диссонансом, идущим вразрез с огромными усилиями, предпринимаемыми для организации будущего в соответствии с глобальной просветительской идеей прогресса; они становились обиталищем или символом тех, кто отвергал эту телеологию и акцентировал потенциальные возможности фрагментации, гетерогенности и различия. <...> Таким образом, руины становились своего рода инородным телом – стилистически, экзистенциально, а также и политически, в то время как для интеллектуальной элиты они превращались в иносказательное выражение свободы, в место, где преодолеваются культурные и идеологические границы» (с. 49).

Душенко К.В.